

Галина БЕЛЯНИЧЕВА

КВАРТИРАНТ

РАССКАЗ

Тем летом я встречался с Алей и поэтому часто бывал на Воробьевке. Воробьевка — это городской район, застроившийся на взгорье, улица, наклонно сбегающая к переправе, и несколько поперечных. Все они имеют свои официальные названия, но по привычке зовутся Воробьевкой. На Воробьевке жила Аля. На той же Воробьевке в один вечер развеялись самые яркие картины моего детства.

Тогда еще был наводной мост через реку, а каркас нового, бетонного, поднимался вдали. Скоро его пустят, и бойкое место переправы уйдет на задворки, запустеет и заглохнет. Но это еще будет, а пока мы с Алей возвращаемся из-за реки по pontонному сооружению. Оно вздрагивает и сотрясается при заходе на деревянный настил скатившегося с горы автомобиля, его колышет течение, раскачивают мальчишки, которые только за тем и носятся по pontону.

Солнце уже косо стоит над взгорьем, опаляя последним жаром плиты и камни Воробьевки.

Оглушенная и пропыленная улица опрокидывается мне навстречу и покорно стелется к моим ногам. Я молод, полон надежд, бездумной уверенности в своем будущем; рядом со мной самая лучшая на свете девочка Аля, и потому я счастлив, переполнен всеми этими ощущениями и в данную минуту ничего для себя не желаю.

Я замечаю, что все движение по Воробьевке — и сверху вниз, и снизу вверх — застrevает у прибрежных палаточек. Наверно, торгуют пивом.

— Хочешь пива? — спрашиваю я у Али и встаю на берегу в хвост плотной очереди.

Аля осталась у реки. Позади нее оловянно взblesкивает вода. Алина фигура, освещенная солнцем, видится мне белым развернутым парусом. Если она скользнет сейчас на воду, я брошуся за ней вплавь.

Позади меня гремит и грохочет Воробьевка, торопясь управиться с делами до заката. Ночью pontон разводят и пропускают суда.

В очереди мне все время попадается на глаза мужик в линялом пиджаке и затертой кепке. Он стоит спиной ко мне, иногда поворачивает голову, и я вижу широкую скулу и выпирающий над нею кончик короткого носа. Сначала мне кажется, что этот пиджак попадается мне на глаза нечаянно. Потом я замечаю за собой, что бессознательно за ним наблюдаю. А, если отвожу взгляд, его, словно магнитом, притягивает снова. И каждый взгляд на приземистую фигуру в линялом пиджаке беспокоит и настораживает мою память. Я еще не узнал ни крепкой спины, ни широкой скулы, ни торчащего из-за нее кончика короткого носа, но по каким-то намертью ввинченным в память приметам угадал в коренастом мужике дядю Лешу из моего детства. Это невероятно и неправдоподобно, потому что воспоминания мои содержат совсем иной образ того человека. Но те самые накрепко ввин-



Галина Петровна Беляничева родилась в 1940 году в Калуге. Окончила факультет журналистики МГУ. С 1965 года живет в Амурской области. Работала литсотрудником газеты «Амурский комсомолец», редактором литературно-драматических передач в Амурском областном комитете по радиовещанию и телевидению.

В журнале «Литературная учеба» (№ 4 за 1980 год) был опубликован ее рассказ «В прекрасной рабочей форме».

ченные в память приметы неумолимо доказывают: это он. Я в волнении обворачиваюсь к Але. Она все так же у воды, и солнце высвечивает ее платье.

Хозяин линялого пиджака получил пиво, отошел от стойки и стал почти напротив меня. Теперь я хорошо его вижу: бесстрастное лицо, тяжелый, медлительный взгляд узких, в припухших веках глаз, резкий прочерк большого рта. Этот новый, незнакомый дядя Леша держится обособленно: ни на кого не глядит и ничем, кроме пива, которое с осторожностью держит, не интересуется.

Подошла моя очередь, и я спросил себе три кружки. Одну за другой продавщица выставила их на прилавок. Взяв их в обе руки, я пошел к дяде Леше:

— Здравствуйте, дядя Леша.

Он медленно обернулся ко мне лениво-бесстрастный взгляд. Я протянул ему кружку. Некоторое время он недвижно глядел на нее. Вдруг каким-то внезапным и неожиданным для меня движением оказался возле прилавка, поставил на него свою пустую и только тогда принял мою.

Я стоял перед дядей Лешей с двумя кружками в руках.

— Я Витька с улицы Спартак, — напомнил я о себе.

На его лице ничто не шелохнулось. Смотрел он на мои кружки.

— Я с тетей Юлей в одном доме живу, — добавил я. Взгляд дяди Леши оставался таким же бесстрастным. — А тетю Юлю помните? — замирая душой, спросил я.

По лицу его прошло движение. Но тут возле нас возникла Аля, и движение это угасло.

Мы трое молчали. Солнце грело мой затылок. За спиной гремела Воробьевка.

— Надо отметить, — вдруг обронил дядя Леша. Глаза его знакомо блеснули.

Само собой, отметить надо, но не при Але же. Она поняла это.

Втроем мы пересекли улицу. Аля, попрощавшись, пошла наверх, а мы с дядей Лешей остановились на ступеньках магазина. Аля шла как истинная жительница гор: голова поднята, будто на ней укреплена ноша, плечи расправлены, спина прямая, шаг легок и чуточку насторожен. Я с торжеством поглядел на дядю Лешу, но увидел в его глазах одно лишь томительное ожидание. Я отвернулся и вошел в магазин.

Когда мы вышли, Али уже не было. Солнце к этому времени подвинулось к противоположной стороне улицы. Тень от магазинного крыльца легла на середину мостовой. У палаток все так же вилась очередь.

Мы еще раз пересекли Воробьевку и свернули в уличку, бегущую вдоль реки.

— Отслужил? — лениво поинтересовался дядя Леша.

— С год уже...

— Теперь это просто...

— Понятно, мы не воевали.

Дядя Леша попылил песком и прибавил:

— А мы жизни клали... Работаешь где?

— Слесарем на приборе.

— И я слесарем на турбине.

— Что, не шоферите? — удивился я.

— Давно-о-о, — задумчиво протянул дядя Леша.

Мы подошли к низенькому, в три окошечка, домику с высокими, глухими воротами, за которыми можно укрыть целый мир. Дядя Леша надавил кольцо калитки, она отъехала, открыв узкий деревянный настил вдоль стены дома. Тесный и укатанный до грифельного лоска дворик загорожен со всех сторон клетями и клетушками. За металлической сеткой похрюкивает поросенок, куры роются позади строения, по гладкой земле шлепают к деревянным корытцам гуси. На веранде худая, измученного вида женщина яростно драит в корыте мужскую клетчатую рубаху. Ее белые, жилистые руки сердито мечутся над корытом. Прыгает на макушке жиденький хохолок.

Лениво-бесстрастный шаг дяди Леши за калиткой вдруг сбился на беспорядочный, семянящий. А у крыльца дядя Леша совсем потерялся.

— Вот, Таня, товарища встретил, — конфузливо объяснил он.

Женщина зырнула на «товарища», засекла вздутый карман и сердито швырнула рубаху в воду. Дядя Леша на цыпочках взбежал на крыльцо, мелко-мелко протрусили мимо хозяйки и пропал за дверью. Я замешкался, гадая, как поступить, если женщина погонит меня со двора. Она же на меня не глядела. И я пошел мимо нее так, будто ступал по льду.

— Пронесло! — радостно перехватил меня дядя Леша. — Она, это, понимает, когда что... Я, это, нечасто тут... Пускай она стирает, а мы в огороде сядем. Там стол есть под сиренью.

Он привел меня в большую комнату, оголенную капитальной стиркой и потому сверх обычного светлую и просторную.

— Мы, это, в окошко выйдем. — Он оттянул шпингалет и вытолкнул створки наружу. — Полезай ты, а я потом... соберу здесь коечего.

Дядя Леша все еще был не в себе: взвинчен и взбудоражен и в то же время смущен. Глаза его загнанно и возбужденно блестели. Поддавшись его настроению, я перекинул ноги через подоконник и полетел вниз.

Только на лету я увидел, как тут высоко и что несет меня прямо на штыки помидорных подпор. Приземляясь, я разворотил их ногами и придавил телом. Горлышко бутылки больно ткнулось мне в бок.

— Не убился? — спросил сверху дядя Леша. — Сиганул по-молодому. А я, видишь, в толк не взял... что ты эдак прыгнешь... — Он стоял в окне, задумчиво разглядывая произведенный мною развал, и скреб под кепкою затылок. — Ладно, я приберу, — заключил он. — Ты, это, двигай туда, — кивком указал он на конец огорода.

Прихрамывая, я побрел вниз, где под кустами виделся мне стол, врытый в землю и взятый в квадрат скамеек. Сел, осмотрелся и удивился, увидев отсюда дом дяди Леши. С улицы он казался игрушечным, в три окошечка, а с огорода — это был могучий бревенчатый дом на каменном высоком фундаменте. На Воробьевке, особенно в нижней ее части, все строения на прочной основе. Но этот сделан слишком уж хитроумно. С улицы сама скромность, а с огорода самодовольная, нагло выставленная собственность. С фасада тесовая обшивка, голубенькая покраска, резной убор карниза и наличников, а с тыла первозданное величие сруба, поднятого, бог знает, на какую

высоту, окна в простых белых окладах. Мимо огорода, мимо речной глади дом глядит в заречные просторы, и цвета горизонта переливаются в его стеклах.

Я соображаю вдруг, что поддался обаянию этой собственности. Память моя с детальной ясностью воспроизводит в сознании тот жаркий день сорок девятого года, когда то же обаяние затуманило голову дяди Леши.

... Я вновь ощущаю себя сидящим в комнате напротив окна, может быть, того самого, из которого я сейчас выпрыгнул. Оно открыто и занавешено тюлевой шторой. Сквозь тонкий ажур кружев мне видны головки цветов, застывших в знойной неподвижности полудня. Такие красивые цветы я никогда не видел растущими на грядке. Я встречал их в банках, бидонах и ведрах на рынке. Оказывается, вот их откуда приносят! Вокруг меня смеются. Я понимаю, что это старается, развлекает всех маленький, хлипкий мужичонка. Он прыгает на стуле, как дятел на суку. Его небритое лицо свисает дряблым, пустым мешочком. Мужичонка собирает и распускает мешочек лица, сыплет шутками-прибаутками, намеками-подковырками. Он тут гоголь, заходящий гость, купец. У него красный товар, и он ловко сбывает его толстой тетке.

Дядя Леша сидит спиной к окну, и когда он шевелится, то закрывает собою цветы. Лицо его видится мне как в размыве. Он улыбается размягченно, благодушно. Возле меня от мелкого, частого смеха студнем дрожит рыхлое тело толстой тетки. В невольной усмешке ломает тонкие губы Татьяна. А мужичонка поддает и поддает, нахваливая «товар». Толстая хозяйка, хоть и раздувается в смехе, но острые ее глазки вцепились в «товар» мертвой хваткой. Щупают и щупают взглядом по ладной фигуре дяди Леши, выщупывают за удалой внешностью изъяны характера. Дядя Леша, как и подобает «товару», в торге не вмешивается, своего отношения к нему не выказывает. Блаженная улыбка плавает под пышными его усами. Он желанно косит на Татьяну. Та сидит надменная, капризная, но покупке жениха не противится.

Мужичонка простирает к дяде Леше грабастые, огромные, при его-то жалком росте, руки и кричит:

— Каков удалец! Каков орел!..

Картина гаснет и пропадает. Дядя Леша высунулся из окна и свистом подзывает меня к себе.

— На-ко, прими, — свешивается он ко мне и передает сковородку с яичницей, хлебом, стаканами. Вылезает сам, становясь вначале на выступ фундамента, а затем сползая на землю. Он распрямляет потоптанные мною помидорные кусты, ходит по грядке. Он приземист, коренаст и плечист, но ладности прежней в фигуре уже нет. Кажется, он давно позабыл о себе, о своем теле. А как он раньше появлялся на нашей улице!

Его побелевшая, выполосканная светом гимнастерка словно отделялась от белой стены углового дома. Солнце, шедшее на закат, принимало входящего в горячие объятия. Кудри солдата вспыхивали золотом.

Как только выцветшая гимнастерка обозначалась на фоне крайнего дома, у нас отворялась дверь и на крыльце выходила тетя Юля. С обрядной торжественностью спускалась она по ступенькам, пересекала двор и становилась у воротного столба. Руки ее скрещены на груди, взгляд не отрывается от солнечного пятна дяди Лешиной гимнастерки, огонь глаз тети Юли в эту минуту приглушен, лицо освещается.

Меня подмывает броситься дяде Леше навстречу, повиснуть на его груди, но я знаю: резкий оклик тети Юли повернет меня назад. Она никому не позволит испортить ей радость от дяди Лешиного возвра-

шения. Все, кто есть на улице (иные нарочно выходят), глазеют только на них двоих: тетю Юлю и дядю Лешу.

Внимание всей улицы и больше всего неотрывный взгляд черных огненных глаз держат солдата в пьянящем, возбужденном напряжении. Каждая жилка в нем готова выказать себя в должном виде. Сапоги выбиваются на камнях звонкие, ровные такты. Шаг пружинист, грудь расправлена, голова горделиво приподнята.

Вот он уже у наших ворот. Под пшеничными усами дядя Леша плавится улыбка, в глазах — удалой блеск.

Тетя Юля подается вперед, глаза ее вспыхивают огнем, жесткая прямая рта смягчается. Дядя Леша сворачивает во двор. Женщина следует за ним. Гуськом они подымаются на крыльце и пропадают за дверью. Зеваки приходят в себя и начинают судачить:

— Ишь какого Орла взяла в пару наша Орлица!..

— Ну, что? — Дядя Леша оглядел стол. — Вилки забыл. Ничего, обойдемся. Порежь-ка яичницу.

Он высыпал на дощатую поверхность собранные по ходу помидоры и огурцы, взял в руки бутылку, поднял ее на свет, встряхнул, разглядывая игру солнца.

— Горит, а! — радостно объявил он. — Люблю, когда она вот так светится. — Отколупнул крышку, ткнул горлышко в один и другой стакан, сел на скамейку боком ко мне и к дому, поднял стакан к солнцу: — Уже не то, поубавилось огня... Эх! И всегда так... Ну, за то, что не забыл, — чокнулся он со мной.

— И вы чтоб не забывали, — добавил я.

Он залпом выпил, ухнулся, обтерся тыльной стороной ладони, прислушался, есть ли огонь.

— Чтоб не забывал, да? — рассеянно повторил он. — Это, парень, тяжело. Жизнь, она во, — он выставил вилкой два пальца, — стрижет. Что не прошло еще, состригает.

— Я ж не забыл, — обиделся я.

— Значит, тебе так надобно было...

Я поставил свой стакан на стол: мне расхотелось пить.

Он прав: его я помню, потому что не помню отца.

— У вас тут цветы были? — отчужденно спросил я.

Он неопределенно поглядел на меня и обронил:

— Были.

— Что ж их теперь нету?

— Да некому возиться. Теща померла. Татьяна гордая, на базар не пойдет. Картошку вот разводим — чушек кормить.

При всем безразличии тона дважды скользнуло в нем нечто вроде бахвальства: когда говорил о Татьяниной гордости и когда о чушках.

Солнце раскидало по картошке толстые рыжие пятна. Небо у горизонта налилось нежной, прозрачной зеленью. Окна дома блаженно и бессмысленно играли отраженными красками неба, реки и заречья.

— Говоришь, чтобы не забывал, — снова напомнил дядя Леша. — Вспоминаю, сиживал какой-то парнишка у меня в кабине. Катал я тебя, что ли?

— Катали, на рыбалку водили, строгать учили, тети Юлины пироги вместе ели.

— Ишь ты, много-то как! — удивился дядя Леша. — Своих панцов не успел покатать. Растут и не знают, какой шофер у них батька. А ты помнишь? — Он стрельнул в меня быстрым и недоверчивым взглядом степняка.

— Как же, дядя Леш, я вами перед всей улице похвалялся.

Дядя Леша довольно крякнул, столкнул кепку на лоб, поскребся в белесом ершике.

— А я снова провалился в то время, когда он большой, а я маленький.

— Дядя Леш, — спрашиваю я его в том времени, — кем лучше быть — летчиком или шофером?

Дядя Леша подремывает, помалкивает. Кудри его свились в тугие спиральки, расстегнутая гимнастерка под мышками отсырела. Мы только что нагрузили машину песком, отдыхаем в тени кузова. Я сижу, поджав ноги, возле дядя Леши и гляжу на блескучую полоску воды.

— Все одно, — после короткого молчания отзыается он.
 — Как одно? — не верю я.
 — Машину мы водим. Он по воздуху, я по земле.
 — Но машины ведь разные! С самолета бомбы пускают.
 — А с машины по самолету из зенитки. Машина артиллерию возит, «катюши».
 — Это да. Но летчиком все ж интересней.
 — Кому что. Я на машине войну прошел. Она мне что невеста...

— Давно не шоферите? — возвратился я из прошлого.
 — Лет с десять уже...
 — А я летчиком не стал.
 — А что, больно хотел?
 — Не так чтобы... Машина ваша не забывалась.
 — Мне самому она снится.
 — Что ж тогда бросили?
 Плотно-серые зрачки дяди Леши загустели в задумчивой дреме.
 — Машина простор дает. А семейному он на что?
 — Работают же другие?
 — Кому ничего, а мне вредит... Не пьешь что? — кивнул он на мой стакан.

— Не идет чего-то...
 — За хорошим разговором пошла б, да я не говорун. Может, сам расскажешь?

— Что рассказывать-то?
 — Ну, где служил?..
 — Далеко, на другом конце страны...
 — Свет повидал, значит. Я тоже повидал на фронте и потом еще... Думал, уж не привязать, а во где пророс, как сморчок — на пне... С машины ушел и — что? — живу, а думал: не отодрать...
 — От тети Юли ушли — тоже живете, — едко добавил я.

Плотно-серые зрачки уперлись в меня глухо, как в стену.
 — Живу или нет — тебе что за дело. Я с другой сошелся! Встретил другую!

Это я помню, как он встретил...
 Тогда мы возили с реки песок и порожняком завернули к погребку: пить захотелось, мне — квасу, дяде Леше — пива.

— Здоров, Лексей, — зуданул вдруг над ухом невесть откуда взявшийся мужичонка.

— Да здоров вроде, — прогудел в ответ дядя Леша.

Мужичонка перенес на наш стол свою закуску и пиво, уселся рядом с дядей Лешей.

— Ты на машине? — не ослабил он радости от встречи.
 — На обед едем. — Дядя Леша кивнул в мою сторону.

Мужичонка тут же заинтересовался:
 — Твой пацан?

— Сотоварищ, — усмехнулся дядя Леша.

— А-а-а, — сразу удовлетворился мужичонка.

Нос у него как ватный, вниз смотрит, на деснах зубов нет, а лицо свисает пустым мешочком.

— Гардеробчик я, Лексей, сотворил. Заказчице перекинуть надо.

— Не-е, Андреич, я на обед.

— Тада другим разом, — согласился мужичонка и тут же прибавил: — Сейчас бы лучше...

Дядя Леша промолчал. Мужичонка сосал пиво и ерзal от нетерпения:

— Тетка торопит. Дочка у нее невеста. Приданое складывать некуда. Сам-то женатый?

— Как поглядеть... — загадочно улыбнулся дядя Леша.

— В паспорте есть? — Мужичонка прочертил пальцем по ладони.

— Не, этого нету...

— Ну, так я тебя поженю! — возликовал мужичонка. — Девка-то — пава! Лебедь! Правда, характерна, норовиста. Такая по нутру?

— Как поглядеть...

— Ты сюда гляди, Лексей: гардеробчик у ней счас полнехонек будет, дом — терем, теща, заказчица моя, цветочками занимается — тьму денег с базару натаскивает.

Мужичонка то соберет лицо в кулак и глазки спрячет, то распустит мешочек и глазками зыркает.

— Поедем, Лексей, просватую, — зудел мужичонка. — Благодарить меня будешь! А что норовиста — не боись. Перемелется! Парень ты бравый, а она всего-навсего девка. Управишься!

Вот так мы и прикатили на тихую уличку возле реки. Мужичонка побежал оповещать хозяев. А мы с дядей Лешей глядели в голубенькие ворота, дожидаясь, когда их раскроют. Дядя Леша раза два бикнул, подгоняя хозяев. Мужичонка развел ворота, и мы увидели, как мечется по двору толстая тетка, загоняя в клети и клетушки гусей и кур. Мы потихонечку стали заезжать. Куры белой пеной посыпали в курятник. Гуси пугливой трусцой бежали от колес.

Толстая тетка оттерла передником запотевшее лицо и с ходу принялась командовать выгрузкой. Она пятилась задом к дверям, будто заманивала в дом. Солнце жгло постройки, двор, загаженный пометом, и меня, забытого на горячей подножке. И тут в ворота Лебедью вплыла Татьяна. Да уж, Лебедью она была! Такая собой важная, такая надменная, такая неподступная. Голубовато-серые босоножки на худых, открытых по самое колено ногах брезгливо выступали между гусиных шлепков. Татьяна повела глазом на машину, оставила без внимания мою поскучневшую физиономию, прошла в дом. Немного погодя через двор утицей пробежала толстая тетка, заскочила в сарайку, а оттуда уже пошла осторожной перевалочкой: несла в переднике яйца.

— Он тебе не отец? — надвинулась она на меня могучим животом.

— Товарищ, — хвастливо сказал я.

— Товарищ? — пропела на высокой ноте тетка. — Какой же он тебе товарищ? Ты малец, а он — мужик!

Она ушла. Я еще долго жарился на солнцепеке, пока мужичонка не вышел на крыльце и не поманил меня пальцем. Дядя-то Леша обо мне и не вспомнил...

А потом, вскорости после заезда на Воробьевку, голубовато-серые босоножки на худых, открытых по самое колено ногах забрались в кабину машины дяди Леши. Ни с того ни с сего дядя Леша приткнул машину к тротуару, подмигнул мне и сказал:

— Отсюда сам добежишь.

Я полетел вниз, а босоножки эти полезли наверх. Меня словно

огнем опалило: «Не с нашей улицы, а выгоняет!» И тут же ожло посильнее: «Так это она на тети Юлино место!»

И совсем скоро машина дяди Леша пришла на нашу улицу в последний раз. Я слышал, как она затихла у ворот, но не выскоцил на встречу, как раньше, а диковато выглянул из сеней. Возле машины никого не видать, борт кузова откинут. Любопытство подвинуло меня к тети Юлиному крыльцу. Из дверей с чемоданом и вещмешком вышел дядя Леша. Он подошел к машине, поставил чемодан на землю, закинул в кузов вещмешок, затем поднял и туда же задвинул чемодан. Обернулся и мимо меня прошел к кладовке под тети Юлиными сенями, вытянул оттуда струганые заготовки, принялся таскать их в машину. Он все время проходил мимо меня и ни разу не взглянул. Для него я еще раньше отжал. И я это чувствовал.

На крыльце возникла черная фигура тети Юли. Руки сплетены на груди, лицо каменно, в глазах дымная пелена.

Дядя Леша долго возится в кузове: все укладывает дощечки. Похоже, он опасается тети Юлиного проклятия или чего-то такого, что черной кошкой перебежит ему дорогу в новую жизнь.

Тетя Юля молчала. Она не в первый раз провожала навсегда. И она знала то, чего дядя Леша еще не знал: у того, кто уходит, уже не будет счастья.

Дядя Леша спрыгнул на землю, поднял борт и, глядя под ноги, пошел к кабине. Машина вздрогнула, сорвалась с места. Где-то в конце улицы развернулась и на скорости пронеслась мимо ворот. Руки тети Юли сползли на широкую юбку. Отчаяние подхватило меня и погнало следом за машиной.

— Дядя Леша! Дядя Леша!

Машина свернула за угол. Я остановился, осиротело озираясь. Слезы брызнули из глаз, я с тем же воплем отчаяния бросился назад. Тетя Юля с мертвым лицом стоит на крыльце. Из нашей двери выглядывает мать. Она ухватила меня за рубаху и затянула в сени:

— Не кричи! Кому говорят, не кричи! — Я реву, уткнувшись в подол. Она уговаривает: — Ну, чего ты так, ну, чего... Не родной он нам... Был и уехал. У Юли другой будет. Может, лучше этого. А мы с тобой сами проживем. — Она тоже плачет, и слезы падают мне на макушку.

— С другой хорошо? — жестко и прямо глянул я на дядю Лешу.
 — Семья у нас, дети, хозяйство вот... — замялся он.
 — Полиняли вы, — не щадил я.
 — Пора, немолодой уж, — отступал он.
 — Да всего-то пятнадцать лет прошло.
 — Разве мало? Ты вот из пацана в мужика вышел.
 — Кто б тогда сказал, что вас хватит всего-то на столько... — проговорил я, думая о былой его удали.

Плотно-серые зрачки собеседника недвижно замерли в узком приступе век.

— А кто скажет: на сколько тебя самого хватит? Думаешь, всегда с ветерком будет? Не заметишь, как отвернет. — Дядя Леша качнулся ко мне: — Есть он у тебя?

— Кто?

— Ну, ветерок, что надежду подает.

— А-а, такое есть.

— И у меня было. Всегда! Под обстрелом лежишь, себя не чуешь, а он эдак между лопаток сквознет, напомнит. Ну, значит, жив и живой буду. От снаряда меня берег, от мины, от пули шальной. С ним я ничего не боялся. Машину по минному полю провел! Чутьем шел, нюхом. И он сзади, веру дает. За мною след в след вся колонна

прошла, ни один не взорвался! Говорили: в рубашке родился. А я про ветерок никому! Мое это!

По старой шоферской привычке дядя Леша подолгу держит тело в одной позе. Сколько мы с ним сидим, он ни разу не переменил положения, только корпус слегка просел и голова вдавилась в плечи. Глаза дяди Леши осветил огонь воспоминаний.

— И после войны ветерок был. Сходилось все, чего и не желал. Захоти я тогда чего... ну, что б невозможно — и было б! А я не хотел, душа праздновала и ничего не просила. Татьяну только и пожелал с домом ее и огородом. — Дядя Леша усмехнулся, как бы дивясь несоразмерности возможного и полученного. Помолчал, заговорил снова: — А ветерок-то тю-тю, отвернул. Я, это, забыл о нем, а потом гляжу: не везет вроде. Прислушался — нету! Ушел весы! Раз, правда, показалось, будто есть. Это, когда я с моста опрокинулся. Вверх колесами в воду влетел. Ну, говорю себе, бывай здоров, Леня. Тут меж лопаток и потянуло. Как на фронте! И знаешь — ни царапины! А ведь кабиною шмякнулся! Да-а, на жизнь, может, еще есть удача, а на счастье — нету... К молодым перебежала. К тебе, может. Хотя не-е, на одного она не пошла бы, много ее на одного. Это у меня было! У других поменее будет. Ты-то на свое загадал?

Он ожег меня неожиданно быстрым и резким взглядом. Я смущился. В последнее время у меня на уме ничего, кроме Али, не было.

— Оно само должно...

— Само!.. Это как сказать! Загадывать нужно, покуда есть. Потом не из чего будет, да и не захочется. Подо мной, например, какой костер запалить надо, чтобы я сейчас загорелся.

— Такое не со всяkim бывает, — сказал я, чувствуя себя надежно под защитой молодости. — С тетей Юлей вот не случилось.

— Женщины — не то, что мы. Они могут держаться тем, что сами для себя выдумают.

— А еще вы говорили, что утраты не на мужиков, а на женщин идут...

— Я говорил? — замер на мне взглядом дядя Леша. — С чего бы я такое сказал?

— Ну, тогда, после войны, женщины никак успокоиться не могли, а вы героями были.

— А-а, — заблестел глазами дядя Леша, — в таком разе мог. Не вспомню теперь.

Солнечные лучи, споткнувшись о верхушку крыши, зажгли по ее краю золотое свечение. Сощурившись, я глядел на радужное облако и видел свои картины.

...В сенях у тети Юли повизгивает рубанок. Дядя Леша добела отглаживает доску. Гимнастерка его распоясана, ворот расстегнут, кудри свежими стружками рассыпались по голове, усы залегли вокруг рта мягкими запятыми. Я с жадностью наблюдаю за тем, как дядя Леша работает. Ему нравится мое любопытство.

— Вот ведь, не отпускает родовое, — играет усмешкою он. — Просится в руки, хоть плачь. Наш род — плотницкий.

— А где ваш род, дядя Леша?

— Из деревни мы. Корень наш там. А сами по белу свету разошлись.

— Зачем разошлись?

— Ремесло такое, из дома уводит.

— И никогда не соберетесь?

— Бывает, что приезжаем... но живем поврозь.

— У нас вам тоже дом?

— Брату-солдату где кормежка, там и постой.

Насмешливый глаз подмигивает мне, и я смеюсь.

Дверь из квартиры отворилась, и в сени вышла тетя Юля. Она ревниво зырнула на меня и погнала прочь:

— Не засти тут. Ступай на улицу. Там всем места хватает.

Я с мольбой взглядаю на дядю Лешу: не заступится? Ведь ему нравится, что я с ним. Он водит рубанком, улыбается, помалкивает — не вмешивается. Тетя Юля вытесняет меня во двор, усаживается на крыльцо, стережет счастье.

В другой раз я застаю дядю Лешу за еще более интересным занятием. Он выпиливает нанесенный на деревянную планку узор. С опаской поглядывая на дверь, я протискиваюсь в сени и замираю возле локтя дяди Леши.

— Кружево, — говорит он. — Ими наличники убирают, а я полочку украшу. Хозяйка раздобрится, пирогами накормит.

— Да она и так... — вспоминаю я тети Юлины пироги.

— Она и так, — соглашается дядя Леша, — а с подходом все же лучше. Штука есть такая — дипломатией называется. Тоже кружева...

— Мамка кружева на кровать стелет.

— Во, это и есть дипломатия.

— Не-а, она папку ждет.

— Где он у вас?

— Его на фронте убило.

— А она ждет?

— Ну, думает, может, ошибка...

Дядя Леша расправился, просунул два пальца в нагрудный кармашек, вытянул оттуда папирису, постучал начиненным ее концом о верстак и предложил:

— Выйдем, браток, перекурим.

Мы присели на крылечко, греемся на солнце и молчим. Дядя Леша щурится то ли от дыма, то ли от едких мыслей:

— Понимаешь, браток, такая дипломатия не по совести.

— Какая, дядя Леш?

— Не та, что у мамки твоей, а про которую я говорил...

Я мало что понимаю, задумчивое настроение дяди Леши действует на меня таким образом, что я сам пытаюсь о чем-то думать. Гляжу в раскрытые ворота и размышляю. Позади растворяется дверь, и за нашими спинами возникает тетя Юля. Ее длинная тень накладывается на наши короткие тени и протягивается почти до самых ворот. Я сжимаюсь, ожидая, что сейчас она погонит меня на улицу, где места всем хватает, но она говорит:

— Подымайтесь, солдатики. У меня ватрушки поспели, будем чай пить.

А еще вот что я вспоминаю: воскресное утро. У наших ворот стоит машина дяди Леши. Возле нее толпятся нарядно одетые женщины. Тут и моя мать. Что-то я не помню ее той поры: какою она была, как выглядела, во что одевалась. А вот тетя Юля вся, как была тогда, перед моими глазами. На ней широкое в сборку платье: пестрые букеты по белому полю, цветной бордюр по подолу, рукава пышным фонариком. Платье из довоенных времен не идет к ее лицу и фигуре, но оно ей дорого. Черная голова в открытом вырезе смотрится обгорелой головешкой, а желтые руки на белом фоне кажутся еще темней. Но тетя Юля знать ничего об этом не хочет. Она смеется, наблюдая за возней в кузове машины. Красная сережка искрой лучится между завитков. Волосы надо лбом уложены морскою волною. Крашеное сердечко рта никак не хочет держать заданную форму. Тетя Юля кричит, запрокинув голову:

— Эй, Степан, женщин-то легче жми. Зараз силу потратишь.

— Не убудет: я хваткий, — гудит сверху мужик в расписанной рубахе и, обхватив руками показавшуюся над бортом женщину, втаскивает ее в кузов.

— У-у, леший, все косточки подавил! — жалуется та.

— А тебе будто плохо? — притворно удивляется мужик.

На посадку с подножки кабины глядит дядя Леша и тоже смеется. Он как всегда в гимнастерке, выстиранной и отглаженной для праздника.

Мы, мальчишки, взбудораженно носимся вокруг машины, кричим, задираемся, нарочито громко грозимся, но наши нарядные матери нас не слышат. Наконец тетя Юля, которой надоело ребячье шнырянье, прикрикивает на нас. Мы мигом и без помощи дядьки Степана влетаем в кузов. Тетя Юля садится в кабину, машина дергает, делает разворот, выезжает на Покатную улицу, и мы с ветром и песней катим за город, в бор, на массовку.

На лужайке, у расстеленной скатерти, я хотел было пристроиться к дяде Леше. Мать строго окликнула меня и посадила за своей спиной. Другие ребята тоже выглядывали из-за плеч своих матерей, послушно ожидая, когда им подадут со скатерти.

Гуляющие разобрали наполненные стопки и держали их на весу, полуобернувшись к тете Юле. За ней признавалось право первого тоста.

— За Победу! — торжественно и сурово проговорила она.

— За Победу! — воодушевленно отзвались все и потянулись стопками к тете Юле.

Она выбрала среди других стаканчик дяди Леши, чокнулась с ним первым, затем уже обошла всех.

— Эх, Юля! — прогудел, выпивши и закусивши, уже дядька Степан. — Пятый годок Победе, а ты все за нее...

В глазах тети Юли колыхнулось пламя:

— Я всю жизнь за нее пить буду!

— Да, я к тому, Юля, — смутившись, отступил дядька Степан, — у бабочек от твоего тоста глаза мокнут.

— Отчего ж не поплакать, когда есть о ком, — задумчиво проговорила тетя Юля.

Сама ж при этом не заплакала, хотя ей было о ком. Она откинулась корпусом назад, чтобы дать простор дыханию, и, нарушая правила застолья, запела после первой рюмки:

Эх, дороги,
Пыль да туман...

Песня налилась голосами и поплыла вверх, к вершинам сосен. Но после слов: «Мой дружок в бурьяне неживой лежит», — ее подкосило, ослабило. Мать моя плакала навзрыд. Всхлипывали другие женщины. Тетя Юля упрямо вела песню. Ей вторили только мужские голоса. Когда растворился в воздухе последний звук, мужчины торопливо и вразнобой выпили. Женщины утирались концами косынок, послушно принимали наполненные мужчинами стопки. Тетя Юля отрешенно закоченела, не пила, и не ела, и в гулянье не вмешивалась.

Нас, мальчишек, любопытство сорвало с места и утянуло поглазеть, как поет и гуляет массовка.

На опушке бора давался концерт. Артисты плясали на кузовах составленных борт к борту машин. Конфетами, бутербродами, ситром и пивом торговал буфет. Бойкая буфетчица подрядила нас стаскивать ей опустевшие бутылки, поощряя к усердию напитком и карамелью. Мы покружили около веселящихся компаний, наелись от щедрот ловкой буфетчицы. Усадили ее вместе с пустыми бутылками на машину, помахали отезжающим артистам и вернулись к нашим.

Они не сидели уже за скатертью, а толклись на лужайке и вы-

крикивали частушки. В стороне, на сухой хвое, прислонившись к шершавому боку сосны, полулежал дядя Леша. Я присел возле него. Дядя Леша о чем-то размышлял, поглядывая на пляшущих.

— Вон как стараются, а веселья нет, — сказал он, словно обращался к себе самому.

Я приглядился к пляшущим женщинам. Они лихо бьют каблуками и поддеваю друг друга острыми частушками. Разве это не весело? Моя мать и тетя Юля тоже там.

Дядя Леша повернулся ко мне и пояснил:

— Воевали мы, мужики, а утраты на них пришли... — Он указал оттопыренным большим пальцем на женщин: — Память они сохраняют...

— Да разве только память? — упало откуда-то сверху.

Тетя Юля неслышно подошла к нам и стояла, преломив на груди руки и огненно глядя в лицо дяди Леши:

— И судьбу, Алексей, бережем тоже.

Дядя Леша запустил руку в курчавый затылок и в сомнении размышляет:

— Я про память говорю, Юля...

— А я про жизнь, Алексей, про судьбу.

Дядя Леша мнет, путает белокурую шевелюру. Весь вид его говорит о сомнении.

— Коли судьба, Юля, то и я в ней голос имею...

— Да кто ж его у тебя отымает-то, Алексей? — ласково удивляется тетя Юля и ждет, когда неторопкая мысль дяди Леши подведет его к нужным словам.

— Ты вот фыркаешь на меня. За Юлю сердишься, да? — Дядя Леша пригнулся, чтобы заглянуть мне в глаза. В его взгляде неуверенность и хрупкость. — Чудно! — усмехается он. — Я тебя едва помню, а ты сколько уж лет обиду на меня носишь... — Он вынул из кармана початую пачку папирос, встряхнул ее. — Не пьешь и не ешь, закуришь, может? — предложил он.

Я отказался. Он вытянул папиросу, помял начиненный конец ее в пальцах.

— За Юлю я ответил, — глядя вбок, проговорил он. — Перед собою ответил, перед нею, перед мужем ее погибшим, перед жизнью своею ответил. Ты, может, последний спрашиваешь. Больше некому... А я что тебе скажу? Помнишь ведь, какой я тогда был. С фронта живой вернулся, победитель. А у ней кто? Квартирант! Ну, по-семейному у нас, и все такое... А вот тут, — дядя Леша тыкнул пальцем в грудь, — вот тут у нее я все равно квартирант. А хозяином муж ее прежний. Она о нем не как о мертвом, как о живом думала. А я у нее для воображения. Бродя я — это он. С честью ко мне, с уважением, только уважение-то ему назначено, как если бы он живой вернулся. За стол садила на его место. Встречать любила... Гимнастерку мою завидит — в струнку натягнется, глаза огнем бьют. У меня под ее взглядом крылья распрямляются. А она его гимнастерку видит! Совсем близко подойду, опомнится, потомнеет глазами, потухнет, а и тут мечту не бросает. Каково мне за другого сходить? С живым я б еще потягался, ладно, столкнул бы с пути, иль он меня. А тут что сделаешь? Терпи или уходи. Не-е, мне чужая жизнь поперек горла. Не для нее я из Германии ехал.

— Дядя Леш, — сказал я, — вы, что, не заметили, что сами по себе для нее значите?

— Заметил, а как же. Только у меня к тому времени своя мечта была. Юле я сказал.

— Хотите знать, дядя Леш? — не удержался я. — Тетя Юля теперь меня встречает.

— Да ну? — Плотно-серые глаза уставились на меня с любопытством.

— Первый раз она вышла, когда я из армии вернулся. Я захожу во двор — она на крыльце, во всем параде. И как только узнала, что я сейчас войду? Поклонилась, с крыльца сошла, обняла. Мать выбежала, а все равно за тетей Юлей не поспела. И сейчас, с работы иду — на крыльце выходит, здоровается. Вечером, со второй смены, не встречает так, не выходит. Свет в окнах держит, пока не пройду.

— А за Победу пьет?

— Первую стопку всегда...

— Вот как... А ведь Юлю я через этот тост и узнал. После войны я в Германии еще служил. В сорок восьмом только демобилизовали. Сюда приехал, тут мне пересадка на местный. Ждать надо всю ночь, до утра. Сошли мы, демобилизованные, фронтовики которые, и в ресторан. На родину все-таки вернулись. Заказали то, другое — несут. Мать честная! От самой Германии еду, а такого не ел! Отбивные — во! Из тарелки вылезают, скворчат! Как земля-то родная встречает! Никак повар в нашу честь поросенка зарезал! Ну, не пойдет вино в горло, если за шефа того не выпьем! Она выходит, Юлия... шеф... «Выпьем, — говорит, — солдатики, за Победу и здоровы тем будем». Глаза у ней черные, горячие, жаром обдают. Разговорились. Каждого она спросила. Я ей говорю: «Шофер я, в деревню еду, отца с матерью повидать, семь лет не видел, на племянников поглядеть, сколько их без меня народилось; братья давно повертались. Посмотрю на всех, погуляю маленько — ну и того, на жизнь буду определяться». Она нам: «Вам, солдатики, новое начинать, а нам, вдовам, старое не забывать». Тут я и решился. Говорю себе: не такая это женщина, чтобы мимо проходить. За всю жизнь, может, другой такой не встречу. Улучил момент, заговорил с ней. По-честному ей сказал, что вот домой хотел, а теперь передумал: прежде на место определись, возле нее то есть, если, конечно, она не возражает.

Утром, автобусы еще не ходили, с нею пошел. На квартиру согласилась взять. Идем мы, дымка розовая в улицах, дворники мостовые метут. Душу мне озnobом схватывает и сжимает точно клещами. Никогда в жизни я перед женщиной так не волновался. Глаза у нее, как оконца в печурке: за ними огонь ходит, жутковато... Чувствую: ладони у меня взмокли. Я их тайком о штаны вытираю. И не поздно еще. Поезд мой не ушел, и товарищи, с кем гужевал ночью, там сидят. А не поверну, не могу повернуть. Как на минное поле вхожу, и ветерок сзади удачу нагадывает. Так и пришел с нею.

— А я не видел, как вы пришли. Я думал, что вы всегда у нас были, пока не уехали на своей машине.

— Ну, ладно, давай прикончим. — Дядя Леша потянулся к бутылке, вылил остатки в свой стакан. — Молодым я без хмеля пьяным был, — вспомнил вдруг он. — Девчата наши фронтовые, бывало, смеются: вот, говорят, приедешь с войны, какую жену искать себе станешь. А я говорю: самую смешливую себе выберу. А зачем, говорят, тебе смешливая? Чтоб, говорю, звонком звенела, веселила. Они смеются: мы все смешливые. Нет, говорю, я такую найду, что войны не видела. Она посмешливей вас будет. Они притихнут. А одна, не молодая уже была, взяла и сказала: может, говорит, твою смешливую уже на первом году щекотать придется; смех, как цветок маковый, скоро облетает... Чуешь, о чем сказано? — Он поднял стакан. — За тебя выпью, за то, чтобы хмель молодой подольше в жилах гулял, чтобы шел ты, не останавливался. За сынов выпью, чтобы тоже шли... Может, за меня дойдут?.. Ну, а мне что? — Он качнулся. — Мне чтоб хоть раз еще, как тогда, на минном поле, чтоб страшно, а страху не было, и кровь чтоб стучала, и ветерок чтоб...

«Интересно, — мелькнуло у меня, — с моста он нечаянно или нарочно свернулся?»

Я выпил до дна: тест стоил того.

— Ну, это, — дядя Леша тоже выпил, утерся рукавом, — соседями, может, будем. Твоя-то, — он кивнул в сторону переправы, — тоже с Воробьевки.

Ну, вот и намек. Только теперь это уже моя жизнь. Я в ней свой голос имею, сам за себя решать буду.

— Вообще-то, мне пора, дядя Леш...

— Что, зайдешь еще? — спросил он.

— Не знаю, — уклончиво ответил я.

Он, видно, понял, что заходить я не собираюсь. Запрокинул голову и, глядя в зеленоватую мякоть неба, проговорил:

— Нетоварищ, значит...

Что ж, всему свое. Я простился и пошел вверх по садовой тропинке, ощущая спиной тяжелый и неподвижный взгляд дяди Леши. А потом, где-то возле калитки, это ощущение пропало. Я оглянулся. Дядя Леша закуривал, держа руки шалашиком, и, как у палаточек, его ничего уже больше не интересовало. «В конце концов, — сказал я себе, — у него есть свои глубины».

Татьяна обернулась на стук калитки, расправилась, поглядела устало и безразлично.

«Лебедь! Что же ты не уберегла? Не знала или не хотела знать? Готовилась всю жизнь получать, а сама отдать не сумела? Бывай здорова, Лебедь!»

На Воробьевке я постоял возле Алиного дома. На верхотуре за тюлевыми шторами тишина и неизвестность, мое будущее. Тротуар ступенями уходит вверх. Дома на вершине поддерживают небо. Оно просело в проем тяжелым, набрякшим сосцом.

Я ухожу с Воробьевки и потому подымаюсь. Дядя Леша спустился сюда. Тут только так и возможно: или спускаться, или подыматься. Если я приду к Але насовсем, я тоже спущусь? Аля — не Татьяна, но и не тетя Юля! Она то, что предстоит мне, а что, я еще толком не знаю. Я могу не приходить сюда. Я могу забрать Алю к себе, на верх.

В городе все еще солнце. Его лучи скользят поверху, почти ничего не касаясь. С легким шорохом проходят троллейбусы. Людской поток движется мне навстречу и мимо меня к центру. В глазах встречных девушек затаенная надежда. Но у меня уже есть Аля.

На нашей улице голубой сумрак. Из глубины двора идет тетя Юля. Она похожа на большую птицу, вобравшую в себя остатки угасающего свечения. В глазах птицы качается пламя.

— Добрый вечер, тетя Юля.

— Добрый вечер, Витя.

— Вы все та же Орлица, тетя Юля.

— И тебе пора быть Орлом, Витя.

— Мне этого не дано, тетя Юля.

— И не отказано, Витя.

«Действительно, не отказано».

— Я попытаюсь, тетя Юля.

— Поптайся, Витя.